

Л.В. РОЗЕНТАЛЬ

НЕПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЕ
ДОСТОВЕРНОСТИ

Свидетельские показания
любителя стихов начала XX века

Новое Литературное Обозрение

Москва

2010

Вступительная статья, публикация и комментарии
Б.А. Рогинского

Указатель публикаций Л.В. Розенталя составлен
Е.А. Бут и А.И. Рейтблатом

Серия выходит под редакцией
А.И. Рейтблата

Розенталь Л.В.

Р 64 Непримечательные достоверности. Свидетельские показания любителя стихов начала XX века / Вступ. статья, публикация и комментарии Б.А. Рогинского. — М.: Новое литературное обозрение, 2010. — 816 с.: ил.

Лазарь Владимирович Розенталь (1894—1990), страстный любитель, знаток и исследователь искусства, вспоминает о своем входении в мир живописи и литературы, о посещении выставок и литературных вечеров, о чтении классической и современной поэзии. Талантливо рисуя бытовые детали и мелочи жизни, он воссоздает атмосферу советской действительности 1920—1950-х гг., позволяет ощутить трагедию интеллигента, не желающего лгать, но все же вынужденного идти на компромиссы. Среди сюжетов книги — учеба в Тенишевском училище, знакомство с В.В. Набоковым, исключение В.В. Розанова из Религиозно-философского общества, работа автора в Государственной Третьяковской галерее, арест и лагерная жизнь жены.

УДК 7.03(47)"190
ББК 63.3(2)53-7

ISBN 978-5-86793-750-8

- © Рогинский Б.А. Вступ. статья, комментарии, 2010
© Бут Е.А., Рейтблат А.И. Указатель публикаций
Л.В. Розенталя, 2010
© Новое литературное обозрение.
Художественное оформление, 2010

этой лошади она ездила на базар за покупками для всей их стайки! Дани взял даже лошадь и пролетку с собой на агитпароход «Трудфронт» для разъездов на остановках. Позже ему это поставили в вину.

Ольга все повторяла: «Нет, не может быть, чтобы вы забыли! Такая красивая, серая, вся в белых яблоках».

Но я отмалчивался. Мне было все равно, какая она. Я потерял Лилю⁴⁸³. Поехав в Ленинград, она внезапно там умерла. Я возвращался после похорон,

Часть третья

ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ

Из лагеря Лили вернулась полтора года спустя после смерти Сталина⁴⁸⁴.

Возвращение к прежней жизни началось с малого — с восстановления отчества: всегда была Соломоновной. Казалось бы, сомнений в еврействе нет. Но при проведении следствия разыскали в метрике после имени отца в скобках «Шлейма». И вот стала «Шлеймовна». Крохоборческо-садистический антисемитизм сталинской эпохи следовал традициям полицейских участков в черте оседлости. Сущая безделица! Но и этим пренебрегать нельзя.

Мне запомнились летний солнечный день и тишина в кабинете важного начальника в управлении милиции на Дворцовой площади. Начальник тотчас же и молча наложил резолюцию об исправлении отчества на прежнее «Соломоновна». Раз реабилитирована, значит, просьбу удовлетворить. Сделано было с той же немногословной сдержанностью и затаенной сочувственностью, с которой восстановили на работе, вернули жилплощадь, партбилет и какие-то еще знаки отличия. Поток реабилитируемых только начинался. Полагалось считать, что все произшедшее лишь горестное недоразумение.

После ранения гранатой осколки выходят из заживающего тела постепенно. Вспоминания о пережитом растянулись надолго. Я подбирал эти осколки по мере их появления. И записывал по свежей памяти. Я переспрашивал Лили, добиваясь возможно большей точности характерных деталей. Лили тщательно проверяла свою память. Что неясно, полузыбыто — прочь! Поскольку это в человеческих силах — одна лишь правда, только то, что действительно так было. Лили ревниво следила, чтобы я в своих записях ничего не переиначивал в угоду выразительности изложения. Она старательно вытравливала всякие словесные оттенки, не отвечавшие ее воспоминаниям.

К записям присоединилась кое-какая «документация» — письма, записи. Нельзя было также удержаться от небольших лирических отступлений. Все в целом сразу же получило название — «Забыть нельзя».

Хоть и просветело и жить стало легче, а все же было боязно. Мы предпочли избегать собственных имен. Даже вместо «Ленинград» я писал «город». Лирические же излияния были в соответствии с чувствованиями того времени недоуменно сдержанными и наивно патетичными.

Писать можно было лишь вместе, летом и во время последующих встреч. Закончить не удалось. Нахлынули другие дела, и прошлое стало представляться по-иному. Дописать становилось все труднее, несмотря даже на то, что уже жили вместе.

Всего было намечено 25 глав. Из них окончательно обработано только шестнадцать, а три главы были набросаны начерно.

Не знаю, как бы мы вместе с Лилей по прошествии стольких лет стали бы приводить в порядок и заканчивать эту рукопись. Но сейчас я один. Мне остается следовать примеру музейных работников, предпочитающих предметы древности, например — керамические сосуды экспонировать такими, какими они до нас дошли. Хорошо, если значительная часть сохранилась целиком; отдельные черепки можно или подклейт, если они примыкают к основной части, или при помоши каркаса, воспроизведя общие очертания сосуда, поместить примерно на надлежащие места. Все это, конечно, без каких-либо подновлений, добавлений и без заделки швов. А если чего недостает, пусть там откровенно зияет пустота.

И вот я воспроизвожу обработанные главы (1—13, 15, 19, 21) такими, какие они есть. (Лишь в главах 2-й и 13-й сделаны некоторые намеченные уже раньше сокращения.) Признаюсь, что сейчас мне не очень-то по душе романтическая патетика лирических отступлений (особенно — глава 21), но они характерны для времени между смертью Сталина и XX партсъездом, и я мирюсь с ними. Текст трех глав (22, 24, 25) я вышелушил из помарок в черновиках, с тем чтобы они по возможности походили на окончательно обработанные. Что же касается шести ненаписанных глав (14, 16—18, 20, 23), то здесь приходится ограничиваться коротенькими сведениями о предполагавшемся их содержании.

Двум главам (22, 24) не были придуманы названия. Они так и остались безымянными. Собственные имена также оставлены нераскрытыми.

1. «Ночь, последнее объятье...»⁴⁸⁵

Она легла спать одна в своей комнате, самой большой, лучшей во всей квартире. Младшая дочка — ей шел седьмой год — спала в те дни в комнате у старшей дочери. Там же — внук-малыш. Третья комната была предоставлена зятю⁴⁸⁶.

Еще не успела заснуть, как вдруг раздался звонок. Было начало второго часа ночи. Зять встал. Почему-то посоветовался, надо ли открывать. Затем подошел к входной двери, спросил: кто? За дверью откликнулись: проверка документов.

Вот вошли. И сразу же — к ее комнате. Она накинула халатик, впустила. Их было четверо. Троє — мужчины в штатских пальто. Тот, кто пожирнее, — главный. Двое других — подручные. У одного из подручных под пальто — форменная одежда. Четвертая — дворничиха Галя.

Спросили паспорт. Проверили и сразу же объяснили: пришли за вами. Объяснять нужды не было. Это можно было предположить, как только раздался звонок. И все было уже совершенно ясно, когда они вошли.

Смерти ждет всякий. И все же, как ни готовься встретить ее, она всегда нежеланна и приходит внезапно. Так же и с войной. Годами думали о ней, предвидели ее, готовились к ней, знали, что она неизбежна. И все-таки даже в канун того часа, когда она началась, всеказалось, что как-нибудь удастся ее избегнуть.

И вот сейчас — так же, как было с войной, как будет со смертью. Каждый мог предположить, что и за ним придут вот эти люди из «большого дома», вот в такой именно ночной час. Конечно, доля вероятности этой, подобной смерти, напасти могла быть разной. Но никто, решительно никто не мог считать себя защищенным от нее. Уже почти два года она особенно неистовствовала в городе. Подбирала со старательностью машины, с точностью автомата решительно всех, кого могла хоть за что-нибудь зацепить. Подбирала уже как будто всех, кто был поблизости. И потому начинало казаться, что она пройдет и на этот раз мимо тебя. Но нет, все же вот и пришла за тобой, неминуемая.

Зять деловито справился, имеется ли ордер. Предъявили по всей форме: и на арест, и на обыск.

Обыскивать принялись лишь ее комнату. И то не слишком тщательно, явно — по обязанности, согласно регламенту. Ведь все заранее предрешено, все совершенно ясно. Давно прошли времена, когда еще допускалось, что у «большого дома» могут быть кое-какие ошибки. Теперь он работал с точностью машинного механизма и кого подобрал, того истреблял безотказно. Обыскивать поэтому, в сущности, было не к чему.

Она сидела в сторонке в своем халатике, поближе к батарее отопления. Ее слегка знобило. Тот, кто был главный, пожирнее, составлял акт. Другой, одетый в форму, занялся книгами. Третий обыскивал прочее. Зашел зять. Предупредил, что жемчуг, тошая нитка жемчуга, лежавшая на туалетном столике, принадлежит его жене. Не отдали сразу. Пошли к телефону, кому-то позвонили, спросили, можно ли отдать, получили разрешение. Но спрашивали явно не потому, что этого нельзя было самим решиться сделать, а только так, для порядка. Отдали. Отдали также после некоторых препирательств и ручные часики, стандартные часики «звездочка».

Забрали фотографии, письма. А среди прочих бумаг и черную тетрадь. Но наброски автобиографических записок почему-то отложили в сторону. Что же, быть может, хоть это уцелеет. Забрали все немногие знаки отличия, все документы. Не найдя партбилета, злорадно осведомились: у вас еще раньше его отобрали?

Никаких ценностей не нашли. На сберкнижке числилось лишь 15 рублей. Усмехнулись. Предложили взять с собой наличные деньги. Всего в доме оказалось 300 рублей. Сто взяла с собой. Остальные оставила дочери.

Все отобранное сложили в один пакет, перевязали бечевкой. А затем предложили собираться, собирать вещи. Не во что было положить мыло. Зять дал свою мыльницу с крышкой. Предупредили, что надо с собой захватить зимнюю одежду. В доме были валенки, много послужившие в страшную зиму 1941 года, надела валенки. Но тут заметили, что это уже лишнее, там внутри достаточно тепло. Однако валенок все же не сняла.

Прочие вещи и мебель разрешили вынести из комнаты. Чтобы все-таки сохранить видимость опечатания имущества на случай его конфискации по суду, приказали диван оставить на месте. Помогли снять картины, фотографии со стен. И вот когда комната оголилась, стало ясно, что все кончено.

Старшая дочь дала расписку, что берет на себя попечение о сестренке. Иначе бы девочку увеличили в детдом: государство заботится о детях.

Комната опечатали. Пожала руку зятю. Поцеловалась с дочерью. Та сказала, что детей не следует тревожить. Их будить не стали. Дочь обещала не-

медленно сообщить о случившемся тому, кого мать назвала уменьшительным именем и чьей рукой была исписана черная тетрадь. Он недавно пробыл в доме неделю, уехал пять дней тому назад и должен был вскоре приехать вновь.

Дети спали. Спала домработница в своем углу за кухней. Или, быть может, притворялась, что спит. Проститься она не вышла.

Спуститься по лестнице с четвертого этажа — на это нужно время. Спускалась и думала, что сюда, в этот дом, где прожила столько лет, где столько пережито, столь многое пришлось перенести, уже никогда не вернется. И никого, кто остается здесь, больше не увидит.

Было половина седьмого утра. Вышли на холод январской снежной тьмы. Сначала — во двор, а затем через калитку в переулок.

Она могла бы, взглянув на длинную каменную скамью у цоколя домового фасада, вспомнить, что на этой скамье когда-то бегала ее вторая дочь, трагически погибшая⁴⁸⁷, затем училась ходить младшая, а совсем недавно начинала ковылять внук. Но на скамью она не взглянула. На углу ждала машина, обыкновенная «победа».

2. Два конца телефонного провода

Kак только мать увела, дочь послала мужа отправить телеграмму: «Задержитесь выездом звоните». Подписалась уменьшительным именем.

И забот и размышлений было много. Скоро начнет копошиться день. Предстоящие трудности нельзя сразу себе представить. Матери нет. Надо закончить дипломную работу и защитить ее. Это еще дадут возможность следить. Но на завод, куда уже было дано направление на работу по окончании курса в институте, теперь уж, конечно, не пошлют. Из партии, надо думать, исключат. Можно ли будет тогда получить хоть какую-нибудь работу? Пожалуй, и мужу будут грозить исключением из партии. Ему нужно дописать диссертацию. Но ему так же будет трудно устроиться на работу. Пожалуй, дело с мамой может так обернуться, что всю семью вышлют из города. А быть может, лучше самим переселиться в другие места? Там меньше будут знать, что произошло с мамой, там легче будет как-нибудь прожить, вырастить детей...

Вот уже утро. Скоро проснутся дети. Сестренке надо сказать, что мама внезапно заболела и что ночью ее увезли лечиться надолго и далеко. Девочка еще совсем маленькая, она поверит. Но все-таки, как же жить дальше, на какие средства, где достать заработок? И что, что будет с мамой?..

Зимний день так недолг! В сумерках вызвали к телефону. Звонят из другого города. Глуховатый, сдерживающий волнение голос спрашивал о телеграмме. Ответила: мамы нет дома. Переспросил: ночью? Затем произнес какие-то слова о спокойствии, бодрости и деловито обещал тотчас же телеграфно выслать некую денежную сумму.

Телеграмму он получил еще утром, перед самым уходом на работу. Он не сразу понял ее смысл. Вероятно, так же, как попавший под поезд первое кратчайшее мгновение еще не сознает, что это вот — конец. Работа была несложная, он выполнял ее машинально в течение нескольких часов, все время проверяя скомканный телеграфный бланк, лежавший в кармане, веря и не веря в происшедшее.

Теперь убедился. Стало быть — конец. И все же надо было что-то делать. Сберкасса; вынул все деньги, часть отправил телеграфно. Дома разобрал ру-

кописи, бумаги. Оставшиеся деньги и самые нужные рукописи отдал на сохранение; остальное повез уничтожать в дом, где имеется печное отопление. В конце концов — все равно, конец. Вообще — конец. А то, что придут и за ним, из-за того, что он только что был там, что там остались его письма и, главное, черная тетрадь — нелепое озорство, это несущественно...

3. Танька

Сначала — личный обыск. Поясок, тесемки, резинки, шпильки, булавки — все прочь. Ничего колющего, режущего, завязывающегося петлей. Как хочешь, сама придумывай, чтобы одежда держалась. Все висит на тебе, еле-еле скреплено, все так неряшливо. Для женщины — особенно унизительно.

Пока обыскивают, составляют описание вещей, выдают квитанцию на вещи, и начинается рядом разговор. Кто-то «зленищий», человек с ужасной харизмой, как чтило бесконечно бубнит, что он так дальше жить не может, что ему нужна своя железница, своя квартира. Ему это уже давно обещали. А перед глазами — твоя собственная комната, из которой тебя только что утали, увезли навсегда, которую опечатали, опечатали для того, чтобы потом поселить кого-то с такой же вот харей. А он все бубнит, все жалуется.

Первая процедура кончена. Затем сажают в «бокс» — каморку для ожидания. Шелканье поворачивающегося ключа. Она слышит этот звук впервые.

Ждать приходится долго. Затем снова эта классическая музыка тюремного замка. Принесут обед, **первый обед заключенного**. Алюминиевая миска. Кислые щи, обжигающее горячие, пахнут рыбой. «Пайка» хлеба и горсточка макарного песка на ней.

Есть не стала.

Снова долгое ожидание. Снова шелканье. Появляется уже знакомая «Харя». Выходит из «бокса», ведет куда-то, куда-то далеко. Оказывается — в баню. «Харя» — всего лишь навсего банщик.

После бани — врачебный осмотр. Осмотр — формальный. Осматривает поклоняясь с прошедью грузинка, совершенно бесстрастная. И опять куда-то уводят под конвоем. В одном из коридоров откуда-то сбоку выводят также под конвоем женщину. Она волочит за собой по полу большой вещевой мешок. Обеих выводят в одну камеру.

Камера — одиночная. Но, видимо, тюрьма переполнена, и сажают по двое. Рядом с откинутой железной койкой поставлен деревянный топчан. Камера — в подвалном этаже, сырья.

Соседка, первое — сокамерница, приволокшая по полу свой мешок, — рослая женщина. Лицо — грубоc, некрасивое. Но складная фигура. На вид —

лет тридцать пять. Почему она здесь? Надо полагать, и ее каким-то путем потянули к тому большому непонятному и нескончаемому делу о какой-то заговорщицкой организации, для которого уже два года выискивают нескончаемое число всех новых и новых жертв^{4**}. Сейчас она в совершенной истерике. Еле-еле удается ее успокоить. Наконец успокоилась. И тогда она сквозь слезы: «А вы ко мне не подсажены?»

Как ни тягостны первые часы в тюрьме, как бы тяжело ни было на душе, а все же нельзя было не улыбнуться. Оказалось, что это кассирша. Почти двадцать лет работает в продмаге. У нее самые обыкновенные имя, отчество, фамилия. С ней неизбежно было, немножко разговорившись, перейти на «ты». Просто — Татьяна, Таня, Танька. Всего лишь — Танька, и только.

Никакого не только отношения к тем, кого могли бы по каким-либо самым фантастическим измышлениям обвинить в причастности тайной организации, но даже представления о возможности такого обвинения у Таньки не было. Поверив, что ее соседка — такая же несчастная, как и она сама, она простодушно созналась, что в первую минуту заподозрила в ней спекулянта-валютой.

У Таньки же была одна вина: летом во время отпуска ездила в Прибалтику к какому-то чудодею-баптисту, о котором ей говорили, что он может вылечить от базедовой болезни. Исцелиться она не исцелилась, но зато ее потянули к делу о баптистах.

От базедовой болезни — истеричность. Истерики Танька весьма ловко использовала как средство самозащиты. С допросов ее всякий раз приводили под руки. А когда предлагали пойти на прогулку, она почему-то так же истерически отказывалась. Сокамернице приходилось ее уговаривать вплоть до крика. Крику подчинялась и, вернувшись с прогулки, слезно благодарила, целовала руки. Но на следующий раз все то же: истерические отказы, уговоры, крики. Все это было так однообразно утомительно!

Утомляла Танька и своей непрестанной возней с голубями. Кормление голубей — это тоже своего рода тюремная классика. Кормить их было строго запрещено. Постоянные окрики надзирателей, шум, гам. И здесь все то же истерическое упрямство: все-таки кидает корм голубям.

Придумала Танька также копить сухари на дорогу. Всячески убеждала, что когда следствие кончится и пошлют в лагерь, то сухари понадобятся: «И не говорите, в дороге без них никак нельзя». Сушила на батарее остатки «пайки». Копила сухари долго, упорно. Складывала их в свой большущий мешок. При обысках сухари приходилось каждый раз высыпать на койку. Их

количество привело как-то корпусного в недоумение. Он вызвал офицера. Тот приказал сухари унести. Танька при этом, однако, не очень протестовала. У нее уж, видимо, интерес к ним ослаб.

Она чудила, а порой и озорничала. В ожидании очередного обыска она завязывала квитанцию на сданные вещи в лоскуток. На тряпочку навязывала другую, затем третью. И так дальше, пока не получился довольно-таки объемистый узелок. Толстая надзирательница в форменной курточке так и набросилась на этот узелок. Долго, старательно развязывала лоскуток за лоскутком, наконец добралась до бумажки. Обрадовалась было, зло обрадовалась, но тут же разочаровалась. Ни слова не сказала. Но все-таки немножко-то ведь позабавились.

Танька бесшабашничала и на допросах. По ее мнению, все следствие велось неправильно, и поэтому она просто-напросто отказалась подписать так называемую 206-ю статью^{**9}. Следственный акт остался неподписаным. Истерика оборачивалась мужеством. Обороняясь истерией, Танька прошла сквозь все испытания вплоть до той более счастливой поры, которая могла бы войти в историю под ироническим названием «эпохи запоздалого Реабилитанса».

С Танькой пришлось прожить в одной камере немало времени. Подчас это было тяжело. Одно в ней было несомненно хорошее: это ее такая же истерическая приверженность к чистоте. Камеру всегда сама мыла, скребла, не позволяя ничем помочь ей. И когда после нескольких месяцев сидения в полуподвальной сырости перевели в другую, светлую камеру в верхнем этаже, то Танька-чистеха забралась на радостях с мокрой тряпкой под самый потолок.

4. Все по закону

Неприкословенность личности! А если кого-нибудь лишают свободы, то есть, попросту говоря, арестуют, то ему в течение суток должно быть предъявлено обвинение. И вот вечером первого же дня сидения в тюремной камере ее и Таньку врезультате повели к следователю.

Это был высокий человек с серым лицом, в неряшливо надетой гимнастерке, с грязным подворотничком. Отвислый живот был кое-как стянут кушаком. Он представился, назвал ее по имени-отчеству и предупредил, что к нему она должна обращаться: гражданин следователь. Затем приступил к обычному, весьма длительному общему опросу. Опросил, старательно записал и в заключение сообщил, что ей предъявляется обвинение по статье 7-35. Что же это за статья, объяснить отказался. Грозила же эта статья все-таки лишь высылкой с места жительства как социально опасного элемента; в былье времена она применялась к проституткам.

Первое знакомство было недолгим. Затем в течение трех недель следовало еще около десятка допросов. Все больше вечером. Следователь был милостив: к 11 часам ночи обычно отпускал. Особо резких столкновений с ним не было. Угрозы, издевательства, насилие вытягивание признаний, нет, всего этого, что пришлось испытать стольким другим, не было: это в качестве массово применяемого метода отошло, видимо, в прошлое уж лет десять тому назад. Нет, нет, никаких «физических принуждений». Все по закону...

Каждый раз — традиционный вопрос: что вы можете сказать о своей контрреволюционной деятельности. И столь же неизменный отрицательный ответ. Хоть головой бейся о стену, все предрешено заранее. Презумпция невиновности — кто о ней знает, кто ее помнит? Все равно осудят, должны осудить. Нет сомнения, что виновна в контрреволюционных действиях! Не должно быть сомнений. Следствие ведут лишь для того, чтобы определить размеры виновности. От следователя требуется лишь одно — «набрать материала по делу». Чтобы все имело вид по закону.

Выдвинуты три круга обвинений. Первое — предосудительные знакомства и связи, как личные, так и деловые. Второе — идеологические ошибки

троцкистского характера в печатных трудах, то есть в популярных брошюрах компилятивного характера и в библиографических указателях. Третье: подбор в учреждении, в котором работала, заведомо политически неблагонадежных сотрудников, на которых опиралась. Все это подводится уже под статью 58–10 и 11: участие в контрреволюционных группировках и контрреволюционная агитация — и грозит не просто высылкой, а чем-то много большим.

На одном из первых допросов присутствует женщина. Следователь по-чтительно представляет ее: прокурор. Перманент, форменная одежда, под которой крепдешиновая блузка. Блузка помятая. Обута в хорошие лаковые черные туфельки. Но чулки — винтом. Злобствующее лицо. Верно, потому, что некрасива.

Прокурор сверяет паспорт с метрикой. Радостно констатирует, что в метрике при имени отца в скобках указано второе. И уличает подсудимую, что та скрыла это второе свое, по мнению прокурора, истинное отчество.

А затем, прислушиваясь к показаниям обвиняемой, наклоняется к следователю и так, чтобы и допрашиваемая ее слышала, наставительно и убежденно шепчет: «Матерая двурушница».

5. Четырнадцать лет спустя

На одном из допросов в руках следователя наконец-то та папка, на предъявлении которой пришлось особенно настаивать.

Это — дело покойного мужа.

Муж застрелился, оставив ее одну с двумя маленькими дочерьми⁴⁹⁰. Одну вырастила, другая трагически погибла. Муж застрелился, как и столь многие другие, в навсегда памятный 1937 год, наивно полагая, что смерть избавит и его самого от ложного обвинения в до нелепости тяжких преступлениях, и его семью от жестоких преследований и лишений. Перед смертью он написал ряд писем: в свою парторганизацию, в парторганизацию жены, лично — жене. Он надеялся, он верил, что сможет оберечь свою семью, что его письма будут достаточно, чтобы никакая тень подозрения не пала на жену.

Мог ли он предвидеть всю меру растущей бессмысленной жестокости. Смерть оказывалась бессильной рассеять подозрения, и дело о самоубийстве не раз всплывало как улика, пускай и ничем не подтвержденная, но все же черняшая жену погибшего.

И вот, уже по ее собственному требованию, это дело снова поднято. Вот оно лежит на столе. Следователь ознакомился с ним. Он признает, что убедился в невозможности предъявить ей обвинение в каком-либо соучастии в неустановленном из-за смерти обвиненного преступлении мужа.

Она никогда не видела предсмертного письма мужа. Ей только сказали, что такое имеется. Все же письма тотчас же были переданы в «большой дом». И вот сейчас она, сама обвиненная, просит следователя, не скажет ли он, что же написал ей в этом последнем своем письме ее муж четырнадцать лет тому назад.

На этот раз следователь счел возможным взять ее просьбу. Он читает ей письмо, вшитое в распухшую папку. Она видит знакомый почерк.

Написано, что он ни в чем не виноват. Она сама хорошо знает это. Прощай у нее прощения. Поручает ей детей. Подпись: «Твой несчастный муж».

6. «В сторону Свана»

Вызовы к следователю внезапно прекратились. Все теперь становится безразличным.

Но сон — восемь часов в сутки. Остается еще шестнадцать часов. Мож но было бы читать книги. Но дают какие попало. Одну — на десять дней. В камере — двое: она и Танька. Стало быть, одна случайная книга — на пять дней, на восемьдесят ничем не занятых часов. Вот такая, как этот замусоленный том «Войны и мира» с вырванными страницами.

Мучительно клонит ко сну. В «глазок» то и дело окрикивают: заключенный, сидите прямо! Но это уже не действует. Она упорно опускает голову на стол.

Приходит корпусной. Справляется, почему нарушается порядок. Грязит каршером. Танька обращает его внимание на то, что ее соседка оставляет еду нетронутой. Не только ежедневный тюремный рацион, но и передачу. Надо же позаботиться. ведь есть-то она совершенно перестала.

Корпусной уходит. А затем приходит за нарушительницей порядка. Ее куда-то уводят. В кариер? Как всегда: руки назад. Если кто навстречу, то останавливаются, ставят носом в стенку, чтобы ничего не видела. Приводят куда-то в хорошо обставленный кабинет. Выхоленный, подтянутый, щеголяющий в форме сидит за столом. Вежливо осведомляется, почему она не здоровается. Предлагает сесть. От рекомендовывается помощником начальника следственной части.

Он обеспокоен, не объявила ли заключенная голодовку. Услышав же, что той все теперь безразлично, что у нее нет никакой потребности в еде, осведомляется, получает ли передачи. А затем распространяется о необходимости хорошо питаться, о значении вкусной пищи. Напоминает, что в ее же интересах поддерживать в себе во время следствия бодрость духа. И цитирует Маяковского:

В этой жизни помереть нетрудно.
Сделать жизнь значительно трудней⁴⁹¹.

Он явно старается придать изысканно-интеллигентский тон своей речи. Но какой это подло-издевательский тон! На просьбу улучшить выдачу книг он отвечает отказом: у нас не общественная библиотека. Вызывает следователя, осведомляется, почему прекратились допросы обвиняемой. Следователь почтительно докладывает, что сейчас он занят подбором дополнительных материалов. У него еще не все готово, и потому пока что необходимости в дальнейших допросах нет. Надо подождать.

И все!

Однако Танькин разговор с корпусным все же возымел действие. Забеспокоились; не только помощник начальника следственной части, но и врачебная часть. Повели и туда. Двое женщин-врачей, из которых одна — грудинского типа — уже знакома, стали уговаривать, чтобы подтянулась, не отказывалась бы от еды. Предупредили, что принуждены будут пустить в ход искусственное питание. А пока что, чтобы успокоилась, дали валериановые капли. Но нарушительница порядка пришла в еще большее раздражение, стала кричать: могли ли быть они спокойны, если бы у них дома осталась шестилетняя дочь. А затем расплакалась. И сквозь слезы стала жаловаться: вот даже и читать ничего не дают, вместо книг подсовывают какую-то рвань.

Врачи этой жалобе все же вняли. В камеру пришла библиотекарша и привнесла новенький экземпляр «Войны и мира». Более того, предложила дать ей список желательных для чтения книг. Получив список, в первую очередь почему-то доставила Марселя Пруста. И вот из тюремной камеры оказалось возможным уйти в «поисках потерянного времени».

7. «Этот человек непонятен»

Перерыв в ведении следствия длился три недели. А затем внезапно — очная ставка.

О том, что очная ставка может быть, она знала. Готовилась к ней, сама ее потребовала. Это было на том допросе, когда следователь особенно настойчиво предлагал ей не запираться, не отрицать свою явную виновность. В руках у него была папка. В папке — показания того, кто, по его словам, был ее «лучшим другом».

У нее хорошее зрение: она на расстоянии узнает почерк.

Следователь огласил показания. Они даны более чем за год до ее ареста. «Лучший друг» свидетельствовала, что не раз слышала контрреволюционные разговоры обвиняемой и что деятельность последней в том учреждении, где они вместе работали, была направлена на подбор заведомо контрреволюционных кадров.

Что можно было возразить? Одно только разве: предъявите мне самого этого моего «лучшего друга».

И вот у стола следователя кроме него самого уже знакомый прокурор-женщина, кто-то неизвестный, возможно, какой-то практикант и «лучший друг».

К встрече с «лучшим другом», как она ни внезапна, все же готова. Чувствует себя собранной, посмотрела «лучшему другу» прямо в глаза. У той — мима какого-то сочувствия, даже, пожалуй, — испуга. И вместе с тем — осуждения: да, тебе плохо, да, тебя жалко, но что поделаешь, ты же ведь все же виновата.

Странно было видеть на ней туфли, каких она раньше не носила. Вот она уйдет, вернется к общим их товарищам по работе, вернется в ту жизнь, в которую самой-то ей уже нет возврата, туда, где они вместе работали, к тому

, которое она так любила и которому отдала столько сил.

Она уйдет, а ты вот останешься такая, какая стоишь, с распущенной ко-

т — ведь шпилек-то нет, в шерстяной кофточке без пояса, все время в стра-

— что чулки без подвязок вот-вот сняются.

Но сейчас они лицом к лицу, и им задают вопросы. По давней привыч-
— даже и на очной ставке, обращаются друг к другу на «ты».

«Лучший друг» настаивает — да разве могла бы она здесь иначе? — на своих показаниях о контрреволюционных деяниях обвиняемой. Да, она подтверждает, что та осуждающее говорила о якобы воздвигаемых для евреев ограничениях. Да, та действительно подбирала нужных для преступной организации людей, устраивая их на различные должности в том учреждении, где они вместе работали.

«Лучшего друга» не смущает вопрос, почему же она уже после того, когда год тому назад дала письменные показания следственным органам, вскорости после того, всего лишь две недели спустя, присутствовала на собрании, где разбирались партийные дела обвиняемой, не требовала ее исключения из партии, а предложила лишь наложить на нее партзыскание. А вслед за тем та же поздравила с благополучным исходом дела, поздравила и поцеловала. «Лучший друг» не отрицает, что все это так было. Но иначе она не могла в тот момент поступить: в интересах расследования она принуждена была до поры до времени скрывать свое истинное отношение к обвиняемой.

И прокурор, женщина в форменной одежде с прической «перманент», следящая за ходом очной ставки, подтверждает, что так и надо было в данном случае себя вести.

Но зачем же «лучший друг» пришла полгода спустя домой к той, о ком сообщила следственным властям как о преступнице, пришла в гости и привнесла тортик в подарок?

Тут уже прокурор — недаром же о ней следователь с гордостью на одном из допросов счел нужным сообщить, что она два факультета кончила, — не поддержала «лучшего друга» и заметила, что этот визит был, пожалуй, лишним.

О чем еще можно было спросить? Обвиняемая попыталась было дальше вести наступление. Она напомнила «лучшему другу» разговор об одном из сотрудников в их учреждении, разговор, который опровергает обвинение в национализме. Однако прокурор резко оборвал ее. А затем следователь составил протокол очной ставки. Протокол надо было подписать. Подписала. Но под подписью сделала приписку, что ей не дали возможности поставить еще один вопрос.

Следователь рассвирепел. Пригрозил карцером. И все это в присутствии «лучшего друга». Было очень унижительно. Смалодушствовала. Прокурор заново переписал протокол. Теперь подписала без оговорок. На этом очная ставка кончилась.

Было впечатление, что очная ставка провалилась. Но позже, увидав, что обвинение в национализме отпало, утешилась, что все-таки кое-чего достигла. Как будто это что-нибудь значило!

Но кто она, этот «лучший друг»?

Знакомы были издавна, еще с комсомольских времен. Девушка из рабочей семьи, кончила среднюю школу, но высшего образования завершить ей не удалось. В партию вступила много позже. Долгое время не встречались, столкнулись снова на работе в одном и том же учреждении. К этому времени у той уже было трое детей, но муж, явно нелюбимый, жил где-то далеко. Всесильно отдавалась общественно-партийной деятельности. Снискала некую славу: семья на руках, столько забот, а вот какая активистка, общественница! Ее портреты помещали в газетах.

А затем пришла война. Детей пришлось отослать к бабушке в другой город. Бабушка умерла, дети очутились в детдоме. Жила одна, уже безотказно ушла в работу. Жилось очень трудно. Но как повелось в те дни в германском тылу, в блокированном неприятелем городе, полюбила наведывавшегося с фронта офицера, полюбила так крепко, что взяла к себе на воспитание его дочь. А затем съездила и за своими тремя. В детдоме, где они жили, привязалась к ней крошечный мальчишка — круглый сирота. Прихватила и его.

И вот дом — полная чаша: пятеро детей. Но война безжалостна: любимого убивают на фронте. Неутешна: его имя, отчество, фамилию присваивает приемышу. Но проходит полгода, снова — человек с фронта, раненый офицер в госпитале. У него отрезана ступня. Взяла его к себе в дом, добыла ему протез. Все дети его равно стали называть «папа». Хотела иметь от него ребенка. Долго не ладилось, но после нескольких выкидышей наконец родила. Жили в большой нужде, новый муж запил. Она, как могла, удерживала свою семью, защищала свое семейное логово. Защищала вплоть до доносчества, до предательства друзей.

Друзей? Нет, конечно, «лучшим другом» она не была никогда. Но хорошие, приятельские отношения с ней поддерживались. Вместе пришлось в тяжелые годы военных испытаний помогать порой друг другу. Ведь это она пришла встречать на вокзал, когда та, кого она затем предала, приехала, чтобы увидеть дочь в agonии.

И она же, защищаясь от возможностей каких-либо напастей от «большого дома», защищая свое логово, добила ту, другую, зная, как тяжело той.

«Этот человек непонятен. Все люди непонятны».

Непонятен? Нет! Тем, кто прожил годы, когда количество истребляемых достигло восьмизначного числа, знает, как люди хватали друг друга за горло.

Это — человек обычновенный, до необычайности насыщенно-необычайной судьбы. Понять его можно!
Но простить?

8. Двести восемьдесят шесть страниц

Всего по ее делу было опрошено тринацать человек. Кроме «лучшего друга» еще двое пытались что-то наговорить на нее. Остальные десять показаний были честными.

Следователь знакомит ее также с отзывами экспертов на 14 страницах ее печатных трудах. Не без некоторой самоудовлетворенности — старательно сделано! — сообщает, что за эти отзывы заплачено 800 рублей. Эксперты — преподаватели марксизма-ленинизма в высших учебных заведениях. Они не поленились порыться в комплектах «Правды» за прошлые годы, проверили цитаты из этой газеты, приведенные в ее брошюре. Их розыски увенчались успехом: цитаты взяты из статей, написанных людьми, которые осуждены как контрреволюционеры. Впрочем, этот успех можно было предвидеть заранее: редко кто из авторов статей «Правды» за прошлые годы не был объявлен впоследствии «врагом народа».

Но ведь в брошюре цитировался партийный орган «Правда» без упоминания имен авторов, которые в то время, когда брошюра писалась, еще не были известны как преступные. Но кто об этом думает! Установлено, что не только в брошюре, но и в библиографических указателях, составленных обвиняемой, содержатся ссылки на статьи и книги «врагов народа». И этого достаточно!

Напрасно она, читая выводы экспертизы, восклицает: «Какойстыд! Какой позор!» Напрасно она требует, чтобы экспертиза была поручена также и специалистам по библиографическому делу. Следователь недоумевает, он отказывается ее понимать. Ведь он в качестве экспертов пригласил преподавателей библиотечного института, чего же более. То, что они преподают другие предметы, а не библиографическое дело, представляется ему несущественным. Это различие вне возможностей его разума. Впрочем, он может успокоить обвиняемую: ведь это все — лишь предварительное следствие. Будет еще суд; на суде она сможет высказаться полностью и сразиться с экспертами.

Можно ли негодовать на следователя, на этого усталого человека с землистого цвета лицом, с отвислым животом, — он трудится, как может. При-

шивает к «делу» один лист за другим. Порой ему приходится тяжко. Дописав очередной протокол, он смиренно просит прочесть внимательно, расставить, где надо, недостающие знаки препинания и исправить ошибки. Он по-своему привыкает к обвиняемой, чье дело ведет. Он по-своему, поскольку это ему нужно, готов с ней человечески говорить.

Внезапно — к делу это никак не относится — спрашивает ее, не знала ли она такого-то видного работника, руководившего крупным учреждением, не бывала ли она в его квартире? — Да, она его иногда встречала, но дома у него не была. Следователь явно разочарован: жаль, жаль. А затем некоторое время спустя, забыв, очевидно, что об этом уже спрашивал, снова заводит речь все о том же видном работнике, о его квартире. И снова повторяет как будто про себя: жаль, жаль. И тут его словно прорывает. Он начинает откровенничать: переведен из другого города, жена, дети до сих пор все еще маются в гостинице, ему предлагают квартиру вот этого самого работника, который стал очередной добычей «большого дома», но он не знает, хороша ли она, стоят ли ее брат.

Но арестован не только злосчастный владелец квартиры, арестована и его жена. Следователь, ведя их дело, не только интересуется их жилплощадью, он в чем-то еще затруднен. И вот предлагает: если вы действительно считаете себя человеком, преданным родине и партии, и хотите нам помочь, то мы вас переведем в камеру, где сидит жена того видного работника, с которым вы отдаленно знакомы, и вы можете узнать у нее кое-что нас интересующее.

Что, что можно было сказать в ответ на столь деликатно-благожелательное предложение? Сдержавшись, ссылается на свою полную непригодность к подобного рода делам.

Она сдерживается. Она каждое 1-е и 15-е число — так разрешено по регламенту, строго блюющему полную законность, — первого и пятнадцатого каждого месяца пишет в различные высшие инстанции с протестом против ее обвинения как «врага народа». Она пишет, но ее заявления неизменно возвращаются, не доходя до адресата, к следователю, который все время ее наставляет: напрасно пишете, добьетесь лишь худшего, лишь увеличите срок своего наказания.

Человек с отвислым животом, в гимнастерке с грязным подворотничком подшивает лист за листом. Скоро уже должен быть конец. Она так смыкалась с допросами, что уже не сидит при этом, а встает порой с места. Дело близится к концу. Во время одного из допросов заходит помощник начальника следственной части. Тот самый — молодой, щеголеватый, который когда-то

вызывал ее к себе. Он спрашивает, почему она стоит сейчас. И все в том же явно изdevательском тоне наставительно поясняет, что арестованный должен сидеть в обоих смыслах, и в figurальном, и в буквальном. Тогда следователь подымается с места и докладывает, что арестованная сама пожелала стоять, а не сидеть. И вот помощник начальника соглашается, что в виде исключения можно допустить, чтобы узник не сидел буквально.

Лист за листом! Следователь удовлетворен: набежало 286 страниц. Внешне была предъявлена другая, более скромная статья обвинения. Следователь скромно признается, что не было уверенности, удастся ли набрать ма-~~баки~~смая действительно преступна, сомнения не было. Все дело велось лишь для того, чтобы определить размеры наказания для нее.

Остается совершить последний обряд: подписания 206-й статьи⁴⁹².

9. На один лишь миг — щелочка

Перед следователем на столе — письма, фотографии, все, что было изъято при обыске и что осталось к делу не приобщенным. Среди прочего и та самая черная тетрадь.

По существу, написанное в этой тетради — озорство. Но для следователя это — драгоценнейший материал. Вот где он мог бы по-настоящему, до-кументально «набрать на дело».

Однако она лежит у него на столе без движения наряду со всякими не-внимательными фотографиями и письмами.

А сколько было страхов из-за черной тетради в первые две недели затеяния! Отдельные страници, особенно — «Кисловодская осень», вставали в ее памяти всякий раз, когда вызывали к следователю. Она знала, что надо быть готовой к защите, надо будет защищаться. Нет, защищать не его, автора написанного, а себя. Она возьмет на себя все, скажет, что сама все написала. Но как сделать, чтобы ей в этом поверили! Ведут на допрос, и она все время готовится к тому, что вот предъявят черную тетрадь и спросят: откуда? Все время обдумывала, как быть, что сказать, и все-таки додумать до конца не могла. И всякий раз, когда вели по тюремным коридорам в следовательский кабинет, готового решения, как же именно, как себя вести — у нее не было.

Но допрос шел за допросом, а о черной тетради не вспоминали. А когда окончательно определился круг обвинений, она стала немного успокаиваться.

И вот снова... Но нет, следователь равнодушно перебирает разложенное у него на столе. Поворчал на письма автора черной тетради: и что это за охота писать на целых восьми страницах. Возмутился неразборчивостью почерка. Саму же черную тетрадь назвал белибердой.

Какое это счастье, что у некоторых людей неразборчивый почерк, настолько неразборчивый, что даже следователи отказываются такой почерк разбирать. Какое счастье, что «большой дом» набирает следователей как можно серее, безличнее, таких, которые совершенно «ленивы и нелюбопытны»⁴⁹³!

Следователь свое дело закончил, он подшил 286 страниц! Он предлага~~ет~~ — ведь так полагается, ведь все по закону — уничтожить, сжечь весь этот ненужный более материал. Требуется ее письменное на то согласие. Но почему-то она не сразу соглашается. Окончательное решение откладывается до следующего раза.

А в камере по ее возвращении Танька накидывается на нее со всей своей обычной истерической ренимостью. Соглашаться на то, что они предлагают? Нет, никогда! Нечего писать какие-то заявления!

И вот, когда на следующем допросе снова предлагаю оформить согласие на уничтожение фотографий и бумаг, она, заразившись Танькиной бесшабашностью, категорически отказывается это сделать. Следователь весьма недоволен. Но как же быть? Столько предстоит лишней возни. Не уничтожать, но куда же тогда все это девать? Кому отдать? Старшей дочери? И вот, кряхтя, вероятно — чтобы избавиться поскорее, следователь сам заворачивает весь этот ненужный материал, включая и черную тетрадь, в бумагу и перевязывает пакет бечевкой. А затем берет телефонную трубку...

И вот на один лишь миг приоткрывается щелочка в ту, другую жизнь, томительно-неизвестную, навсегда отделенную от нее нерушимой стеной заточения...

Но тотчас же уводят в другую комнату. Следователь же вызывает к телефону дочь. Она — дома. Она больна: ее донимают безработица, заботы о семье, неизвестность о будущей судьбе матери. К телефону подходит ее муж. Что он может ответить, когда вызывает «большой дом»? Да, она свободна, сейчас приедут.

Она приехала тотчас же, несмотря на слабость, на повышенную температуру. Муж — вместе с ней. Остался в приемной. Кто знает, зачем вызвали, что еще может быть.

Следователь с его неряшливой фигурой показался почти страшным. Принята пакет от него, расписалась. Ни о чем не спрашивала. Все равно не ответят. Все время было такое чувство, что мама вот только что вышла отсюда.

Мать прождала часа полтора. А потом ее снова привели к следователю. Он известил ее, что пакет со всеми не относящимися к делу материалами передан дочери. И счел возможным еще немного приоткрыть щелочку: по закоренелой, верно уже совершенно бессознательной следовательской привычке — это же допрашиваемого все время чем-нибудь угнетать, — заметил: «Ваша дочь очень плохо выглядит».

Что же, ведь он сказал сущую правду.

10. Дальнейшая процедура

Во времена ведения следствия они не оставались с Танькой в камере одни. Сначала к ним третьей подсадили старушку. Но ненадолго.

В камере втроем очень тесно. И поэтому днем один из топчанов разбирался. Доски снимались с козел; все складывалось в уголок.

У старушки была своя судьба. Большую часть своей жизни она прослу~~жила~~ла горничной в семье обрусевшего норвежца, владельца одного из самых больших машиностроительных заводов в городе. Вместе с господами ездила за границу, научилась там немножко говорить и на других языках. Господа увлекли ее после Революции в эмиграцию. Но там она соскучилась по родной деревне; ей удалось выхлопотать в посольстве советский паспорт, она вернулась к себе на село, устроилась работать при почтовом отделении. А затем началась Вторая мировая война, пришли немцы, ей поручили раздавать какие-то талоны для населения. После окончания войны перебралась в город, служила ночной сторожихой, но вот ее арестовали, обвинили в шпионаже.

Старушка не сопротивлялась, считала, что ее положение безнадежно, подписалась под предъявленным ей обвинением. Через три недели ее увели.

По закону следствие должно быть закончено в течение двух месяцев. Но другие две заключенные в камере «проходили» по особо сложным делам; одна обвинялась в участии в контрреволюционной организации, а Танька — в связи с каким-то делом баптистов. Для обеих были испрошены у главного прокурора специальные разрешения на продолжение следственного дела сначала на один месяц, а потом еще и на второй.

Тем временем взамен старушки подсадили новую заключенную. На этот раз — совсем юную, почти девочку. Но так же — за связь с немцами во время оккупации. В какой-то газете разыскивали фотографию — группа девушек, набранных немцами среди оккупированного населения для подготовки на работу в концлагерях. И начали вылавливать всех сфотографированных, обвиняя их в шпионаже. В числе выловленных была и эта комсомолочка.

Жили втроем, пока Таньку, отказавшуюся поставить свою подпись под делом, не увели. А затем снова в камере остались двое. Подписала 206-ю ста-

тью, подтвердив тем самым обвинительным материалом знакома. Оставалось ждать суда, следователь говорил, что будет суд.

Но прошел еще месяц, за ним — другой. Арестовали в середине зимы, а теперь уже стояло лето. Подала заявление начальнику тюрьмы: запрашивала, почему так долго держат. Начальник тюрьмы внял ей, вызвал к себе, объяснил, что он ничего не может сказать о движении дела, это — не в его компетенции, но, поскольку ей тягостно сидеть почти в одиночестве, может ее перевести в большую камеру. Но чего-то он, верно, недоговаривал.

Новая камера была на шесть человек. Здесь находились те, кто имел касательство к тому большому непонятному делу, которое нависло уже столь **весоми** над городом, над всеми сколько-нибудь значительными работниками в нем. Одна из новых соседок по камере приходилась племянницей жене **какого-то** весьма видную должность занимавшего, а ныне в тягчайших **преступлениях обвиняемого**. Другая, особенно подчеркивавшая свою невиновность, была, видимо, интимно близка другому, также весьма влиятельному и также ныне подвергнутому жесточайшему испытанию лицу. Большинство в камере обвинялось лишь в причастности и особо суровых кар не ждали. И это невольно рождало надежду, что если тебя почему-то поместили вместе с **ними**, то, возможно, суд не будет столь грозным и наказание ограничится ссылкой.

В новом обществе недолго пришлось пробыть. Всех шестерых вскоре перевели в пересыльную тюрьму. Перемещение в общую камеру было всего лишь подготовкой к этому переводу на новое место.

Первую ночь в пересыльной пришлось провести в камере на пятнадцать человек. Спали на деревянном полу, все вместе. Тут были и воровки, и какие-то явные проститутки. Затем с утра — тщательнейший обыск. Тщательнейший и потому особенно унизительный. После обыска — в баню. Из бани — на врачебный осмотр. Врач — мужчина, опытный, по-своему добросовестный, но именно в силу своего опыта и добросовестности бесцеремонный и жесткий. Врачебный осмотр походил на дополнительный обыск. Если нужно было, ощупывали в самых интимных местах.

А затем отвели в камеру. Снова — на шестерых. Первой, кого увидела там, была Танька. Обрадовались друг другу словно родные.

Но все было непонятно. Не судили, ничего не объяснили, а уже поместили в пересыльную тюрьму. Значит, назначены к пересылке. Но куда?

Вызывает корпусного. Корпусной по-своему любезно объясняет, что все **числящиеся** в этой камере числятся за Особым совещанием, которое будет решать их судьбу.

Законный порядок соблюден! Никто из них, «числящихся» за «Особым совещанием», не представляет себе еще достаточно ясно, что это такое: ОСО, трое людей, которым поручено без суда на основании лишь следствия — вот такого «дела» на 286 страницах, руководствуясь революционным чутьем в распознавании врагов народа, произносить приговор.

Корпусной дополнительных разъяснений, что такое «Особое совещание», не дает. Но на вопрос, хуже или лучше это, чем суд, отвечает прямо: хуже. Осужденный по суду лишь отбывает свое наказание и тем самым искупает вину, а тот, кто числится за Особым совещанием, навсегда останется таковым.

А затем в пересыльную из «большого дома» приезжает ответственный сотрудник и вызывает из камеры всех по очереди. Возложенная на него часть процедуры непродолжительна. Он корректен. Но абсолютно бездушен. Его лица нельзя запомнить. У него нет лица. Он сообщает, что по решению Особого совещания она за участие в правотроцкистской организации и за контрреволюционную агитацию осуждена на столько-то лет к помещению в исправительно-трудовой лагерь⁴⁹⁴.

Сообщает, а затем осведомляется, были ли при аресте изъяты какие-либо ценности, подлежащие ныне возвращению, и имеются ли у нее какие-нибудь вопросы.

Что же! Она просит взятые у нее облигации Государственных двухпроцентных займов передать дочери и беспокоится относительно судьбы комнаты. Узнает, что отнята может быть лишь излишняя жилплощадь. А заодно и то, что ей предоставят короткое свидание с кем-нибудь из ближайших родных.

11. Письмо⁴⁹⁵

«Дорогой ... (имя, отчество)!

Не писала Вам эти дни, т.к. рука не поднималась. Что писать? Я знала, головой понимала, что иного исхода нет, а тело ~~надеялось~~ надежда на чудо, что надежда, видно, и помогает человеку переживать все самое страшное в жизни. Но чуда не свершилось, увидела я маму, узнала от нее, что восемь лет жизни мы будем проводить⁴⁹⁶, передала ей вещи, которые она просила, получила обратно теплые вещи, чтобы выслать ей их посылкой. Передала продуктовую передачу, вероятно уже последнюю.

Впереди лежит жизнь, трудности, очень и очень большие трудности, очень тяжелы последствия для меня, тяжелы морально, тяжелы и теми трудностями, которые встали передо мной уже сейчас с работой и, след., с возможностью растить ребят в более или менее приличных условиях.

Я знаю теперь, что физическая смерть гораздо легче, чем то, что я сейчас должна пережить. Не знаю, хватит ли у меня здоровья и сил на все это.

Мама выглядит хорошо, хорошо держится, она живет уже в другом мире, отрешенная от нас. Ей уже все далеко. Она сказала мне, что она сделала даже больше, чем нужно, когда защищалась. Очень бы хотела вас видеть, чтобы о многом поговорить и посоветоваться. Вам необходимо быть в Л. числа до 10–12-го, если хотите встретиться с К.А.⁴⁹⁷. Точно напишу след. раз. Наташа⁴⁹⁸ вернется 5-го. Вывезти ребят, видимо, нынче не придется, мне это не по силам.

Я совершенно не в состоянии заниматься этим вопросом. Как только я узнаю об отъезде мамы, я займусь вполне личными делами.

Вы не путайтесь моего письма, я все перенесу, я должна все вынести из-за детей.

Сарра Исааковна⁴⁹⁹ плоха, не знаю, удастся ли поставить ее на ноги даже временно.

Да, мама сказала, что бублик она везет с собой, что она все понимает и все напишет мне и Вам, через... (уменьшительное имя сестренки).

Желаю Вам все же отдохнуть, ведь здоровье — это важная вещь! (подпись — уменьшительное имя).

12. Поезд идет в Сочи

Как положено, сначала повели в баню. Начинены были — «в этап». Затем из «каптерки» получили свои вещи. Получили продовольствие на дорогу: хлеб, сахар, соленые кильки, завернутые в бумагу. Килек не взяла. В тюремном ларьке купила сушек. Был еще бублик: он остался от одной из предыдущих передач. Таких бубликов в их городе не выпекали; ясно, что его прислал тот, за чью судьбу она из-за черной тетради так боялась. Бублик был знаком, что с ним, с тем пока что благополучно, что он — с ее детьми, что по-прежнему ей протянута дружеская рука. Бублик уложила с носильными вещами. Мешок — на плечи и тючок в ремнях — в руке.

Посадили в «воронок». Повезли. Сквозь решетку дверцы что-то мелькает. Город — такой знакомый, можно примерно угадать, куда везут. Вот, видимо, — по мосту через реку. А затем остановились; очевидно, заехали в «большой дом». Там кое-кого подсадили. Поехали дальше. На вокзал. Подъехали к товарной станции. Здесь высадили. И здесь повели впервые под конвоем. Шли медленно, долго. Был жаркий день. Шли по железнодорожным путям. В голове — никаких мыслей. Жалко зрелище — ватага женщин, плетется, несет свой скарб, вокруг солдаты в шинелях с ружьями. Нет, нет, никаких воспоминаний о «Воскресении» Льва Толстого возникнуть не могло. Никаких мыслей.

Привели к одинокому вагону. Привели, стали ждать, конвойные закурили. Наконец кого-то разыскали, отперли вагон. Вагон — не теплушка, нет, нет, классный, ряд купе и коридор. Отличие — в купе окон нет. Свет — сквозь решетчатые отверстия в двери, выходящей в коридор. Коридор светлый, но окна в нем зарешеченные. Таково гуманное новшество последних лет царской России — «столыпинский вагон».

В купе напихивают народу, сколько можно. В дороге в их купе дошло до 21 человека. Сидят впритык на скамьях, на верхних, подобных нарам полках, на своих же вещах, стоящих в проходе.

За дверью по коридору ходит часовой — «попка». Конвойные очень грубы. Заглядывают в окна, дают ведро и кружку попить, выводят в уборную — длительная, сложная, унизительная процедура.

К вагону подкатился паровоз. Покатал по путям, а затем подвез, вероятно, к какому-то составу. Пришептили. Сквозь решетку коридорного окна виднеется еще какой-то поезд. Классные вагоны, на них дощечки с надписями, указывающими маршрут. Поезд, значит, пассажирский, дальнего следования. Вот в таком, также летом, уезжала во время отпуска на юг.

Можно прочесть на дощечке напись крупными буквами. Станция отправления — твой город, станция назначения — Сочи.

13. Письмо «слева»

Три листика, вырванных из блокнота. Вот — отдельные фразы:

На первом —

«28/Х. Милый друг мой, такой теперь далекий! Мое письмо, написанное с дороги. Вы, наверное, не получили. Я должна повторить то, что в нем было. Мне так бесконечно важно сказать Вам все это...

...Ты даже не можешь представить, что это значит — отсюда, где я, ощущать эту протянутую руку...

...И я прошу у тебя прошения... за ту боль, какую ты испытываешь, я знаю, слушая сводку о погоде (название населенного центра в самом северо-восточном углу Европейской части СССР)...

...Ты получил мое последнее письмо, когда меня уже не было дома, а я так и не прочла твоего последнего письма».

На втором листке —

«...Первое время все пыталась представить себе, что ты мог там написать, и мне было так мучительно вспоминать об этом непрочитанном письме...

...Я ничего не знаю об их жизни. Очевидно... (имя старшей дочери) нашла в себе мужество не писать мне. Молодец, так и надо. Пусть пишет... (имя дочурки), но не реже одного раза в месяц. И две-три строчки от тебя. Пусть... (имя дочурки) напишет (или ты), где работает... (имя старшей дочери),защитил ли (имя зятя) диссертацию и где работает и что с... (имя ближайшей приятельницы). Я могу писать только два раза в год...»

На третьем листке —

«Что я могу написать о себе? Пока здорова, пока бодрюсь, но, если сказать правду, жить не к чему...

...Самое страшное даже не быть, к нему можно привыкнуть и приспособиться, и совсем смириться, а отсутствие работы или необходимость физической работы, к которой я совершенно непригодна. Даже не имею права писать для себя. Остаются книги и люди. Книг хороших нет. Твои посылки — это великое богатство, а я здесь — самый богатый человек. Великое тебе за это спасибо. Получила я две бандероли...

...Пришли мне что-нибудь простое о звездах. Здесь изумительное небо...
И звезды совсем на других местах. Я имею благодаря твоим и... (имя старшей дочери) заботам все, что надо. Только вот срочно вышлите мне теплый платок на голову — у меня украли мой, а здесь без платка никак нельзя. И если можно — ниток для вышивания — шелковых и мулине. Надо себя чем-нибудь занимать... В посылках необходим лук... Итак, книги и люди. Хоть книг и мало, но они неизмеримо лучше людей, которые меня окружают. Это самое страшное в моей теперешней "жизни" — чужие и чуждые люди, скоторыми всегда вилотную, рядом. И мало интересных — единицы...»

Имя им — легион

«**П**о дороге в пересыльной тюрьме, имеющей славное прошлое, помнящей времена Иоанна Грозного⁵⁰⁰, — группа юных девушек. Они — из Германской демократической республики. Все в возрасте 16—20 лет. У них почти никаких вещей с собой. Их много — они заняли значительную часть барака. Много хорошенеких. Они были арестованы, кто на работе, кто на улице. Среди них почему-то много парикмахерш и фотографов. Осуждены на 25 лет. У одной пол-летним пальто — изящное "дессу"⁵⁰¹ и больше ничего.

Ведут себя независимо, вызывающе. Не хотят ни с кем разговаривать, пол в камере не моют, на поверхку не выходят. Полагают, что такое с ними недолго, что скоро будет какой-то переворот, уверены, что их освободят. По вечерам развлекаются, разыгрывают самодеятельные "ревю" с пением, с танцами...»

Так должна была начинаться глава, в которой предполагалось рассказать о женщинах-«зэках», встреченных на этапе и в лагере. Она осталась ненаписанной. И это не случайно. Здесь преобладали воспоминания не о личных переживаниях, а о наблюдениях. Выбрать среди них самое существенное, самое характерное было нелегко. К тому же воспоминания по мере углубления в прошлое лавиноподобно множились. Вряд ли они уместились бы в одной главе.

Вот кое-какие сохранившиеся «заготовки» к этой главе:

«Сколько, сколько их. Это — глубины народа, которых никогда не знала и никак не причастных к 57—10».

«Литовки. Ручные станочки ткацкие, из спичек. Министр-литовец в кепке выдавал посылки. Эстонцы, латыши, молдаване. Не любят друг друга. Медицинский персонал — Прибалтика. Крепче всего землячество польское».

«Литовка. Держала аптеку. Муж — член правительства, удрал за границу. Скрывалась, выс... [неразб.]⁵⁰² узнав, что арестованы дети. Выслана вдогонку высланным детям».

«Зап[адные] украинки. Все возрасты от 17 до 60. Старухи с клюками. Ничего не понимали. Помогали бандеровцам. Приговор — в поезде. Стра-

пара, от Польши, от СССР. Малограммные, деревня. Истязали [имя]. Отбиты легкие, вырваны волосы. Следствие велось на немятом русском языке. Замечательные рукодельницы».

•Украинки — неграмотные — наши. Против колхозов. Сектантки — а) вегетарианки б) против войны. Боролись с свиноводством. 25 лет в колхозе».

•Баптисты — «проповедницы» — миссионерки: жена врача, миссионерка из Китая, журналистка. Продолжали пропаганду, конкурируя с другими сектантами (евангелисты, иеговисты, субботники)».

•Московские школьники и студенты — из интеллигентских семей. 16 человек. Увидели друг друга впервые на суде, а обвинялись как организация. В лагере — туберкулезные: 3 девочки. Одна в лагере встретилась с матерью. Обвинены: читали Ленина и осуждали современность. За невыполнение заветов Ленина».

•Анархистки — вся жизнь в лагерях. Несколько раз [им] меняли срок. Были помоши извне и все же выжили. Достоинства не теряли».

•Астрологи-теософки из Москвы. Преподавали англ[ийский] язык в воен. академии. Составляли гороскопы на 10 лет».

•Две койки, застелены одним одеялом. Избившие стукача». (Это Лилия сама видела: две подружки-лесбиянки погнались с табуретом за доносчицей «грех», распространенный в лагере, преследовался.)

•Мисс-англичанка с тем же номером» (Лиле указали на нее: у нее на спине — Литин номер!)

•Теша кинорежиссера, крупная спекулянтка, дочь атамана [Семенова], дочь эст[онского] министра с шрамом на подбородке, жена композитора, жена кооп[еративного] деятеля».

«Люся-армянка...» (далее следует перечисление ближайших лагерных приятельниц: судьба Люси — особо примечательна, я бы о ней охотно сказала. с Люсей познакомился, когда она вышла на волю).

•Проволока. Вышки с попками. Медиц[инский] осмотр. Вагонки — третья доска. Лампочка. радио, ночь, цистит».

•Вклад в общее дело. Резка хлеба, переплетное дело, вывозка помоев, топка печей, выставка к партъезду, переписка повар[енной] книги». (Лилия была в, так сказать, инвалидном лагере. На лесоповал их не гоняли. Они занимались самообслуживанием.)

15. Два совсем коротеньких письма

1. Один из листочеков, вырванный из тетради с косыми линейками:

«Здравствуй Дорогая мамочка. Я живу очень хорошо. У меня есть две очень хорошие подруги Таня Холкина, Таня Беловенцева. У меня есть новый лыжный костюм, у меня есть лыжи. У меня есть оценки за 2 четверть: Устный 5; Арифметика 4; Физкультура 4; Мне подарили новый календарь. Мне очень жалко, что я проболела все каникулы. А теперь хожу в школу. Я знаю много стихов Пушкина и Барто. Я пойду в цирк 17 января. Миша знает уже много букв и стихи одно из них Смена

До свидание

Целую

... (имя)

Но нет подожди!

Во-первых у меня тринадцатого января

Костюм зеленый да еще вышит

У нас есть газовая плита, а газа еще нет

До свидание

Целую

... (имя)»

2. Страница, вырванная из тетрадки:

«Дорогая мамочка. Я живу хорошо. Мы все здоровы. Я опять стала ходить в школу. Теперь я сама читаю Мише книги и учу с ним стихи.

Выздоравливай скорее Целую

... (подпись — уменьшительное имя)»

Внизу приписка мелким почерком: «Друг мой, милый! Вот уже и 52-й год. Зимы у нас почти нет. Лишь в ночь под Новый год навалило много снега. Кажется, и в ваших краях в это время не было холодно. Для ... (имя дочурки) удалось под Новый год достать такой же отрывной календарь, как и в прошлом году. В ближайшие дни Тебе будет отправлена очередная бандероль. Книги подобрать трудно; стараюсь поразнообразнее. Когда будешь писать, напиши, в каком роде желательнее. Я работаю по-прежнему. У про-
тих так же без изменений. Целую ... (подпись)»⁵⁰³.

16. Утешение

«Пушкин, прошарясь с книгами, обступившими его смертное ложе, назвал их друзьями. Быть может, правильнее было бы сказать: утешители...»

В лагере, где производилось распределение в места постоянного заключения, повели в баню. Несмотря на запрещение к окошку баний раздевалки подошел мужчина-заключенный и спросил, нет ли здесь такой-то. Он назвал ее фамилию. Она удивилась, откуда он ее знает. Оказалось, он разыскивает ее, так как она может оказать ему величайшее благодеяние. Он только что узнал из списка книг, прибывающих в баандеролях на имя заключенных, что ей прислана книга Родена "Искусство"⁹⁴. Он — художник; эта книга ему особенно дорога, особенно нужна; он готов все, что может, отдать взамен за нее. Но что можно было ему ответить? Она еще не получила баандероли. Это первая книжная посылка ей. Она — от того, кто ей так дорог. Нет, книгу она отдать не может.

Бандероли приходили исправно каждый месяц...»

Эта глава также была только начата. Но поскольку она — касательно книг, то тут я могу положиться на свою память и кое-что сказать о предполагавшемся содержании «Утешения».

Самая популярная книга в лагере — «Воскресение» Толстого.

Стихи Блока были получены в издании Малой серии Библиотеки поэта⁹⁵. Видя эту книгу часто в руках, многие спрашивали, не молитвенник ли это.

Только что полученный однотомник Ибсена Лиля дала почтить дочери эстонского министра. Та, всегда неприветливая, особенно к бывшим партийцам, внезапно обняла ее и поцеловала. Шрам у нее на подбородке от удара внезапно распахнувшейся двери, за которой она счастливо спряталась от уголовников, ворвавшихся в их барак насиловать женщин.

Двенадцатишире Тютчева «Русской женщине» особенно полюбилось. Я не мог сообщить какого-либо комментария к нему. И не очень понимал, почему именно эти стихи так отмечают. Позже, после рассказов о жизни в лагере, понял.

С неожиданным увлечением читали «Исповедь» Руссо. Это — в интеллигентской прослойке. В № 4 «Знамени» за 1954 год в цикле Пастернака «Стихи из романа» я отметил крестиком «Разлуку». Это было уже незадолго перед освобождением Лили.

17. Этих ничто не сломит

Не очень-то ясно представляю себе сейчас, о чем предполагалось рассказать в этой главе. Возможно, к ней относится запись: «Монашки. Голые, не моются». Эта запись — напоминание о случаях, как какие-то не то сектантки, не то монашки отказывались от казенной одежды, так как она антихристова, и сидели в бараке голые. Лише рассказали об этом, и она ходила в этот барак смотреть на них. И само зрелище, и спертый баражный воздух были удручающие. Не желающих идти в баню насилием выволакивали и везли вповалку на дровнях. С такими бабами сладу не было. «Начальнички» иной раз плошали.

18. Параша

«**С**лухи, очень грустные. Внезапный поворот в марте и т.д. Отъезд части (очевидно — амнистированных после смерти Сталина). Пишут заявления». Татьяна единственно сохранившаяся запись о том, что должно было быть в этой главе.

19. Однофамилица

Историки литературы не совсем уверены в его отчестве: Иван Семенович? А может быть: Иван Степанович?⁵⁰⁶ Он был «попов сын». Ломоносов ему посодействовал. Он попал в «академический университет». Учился хорошо. Но поведения был скверного. Академию скоро покинул. Пьянировал. Работал наборщиком. Потом — корректором. И, наконец, занялся переводами с итальянского и латинского. Переводил в стихах. Перевел Горация. Написал также биографию Кантемира. Его сочинения и переводы были изданы отдельной книгой⁵⁰⁷. Но больше всего прославился своими ненапечатанными «срамными» сочинениями⁵⁰⁸. Один из их списков хранится в Публичной библиотеке в Ленинграде. Название «Девичья игрушка» звучит насмешливо. Но по существу они не столь уж эротичны. Зато сквернословия в них выше всякой меры.

Он приобрел популярность у последующих поколений. Его имя значится в заглавии одной из ернических поэм Пушкина-лириста⁵⁰⁹. В течение всего XIX века ему обычно приписывались всевозможные порнографические поэмы. У него была чудная посмертная слава; присоединением к его фамилии окончания — «шина» был создан синоним похабщины.

И неудивительно поэтому, что когда среди великого множества стихотворцев первых послеоктябрьских лет появилась поэтесса с такой же фамилией, то это вызвало у многих улыбку⁵¹⁰. Известностью она не стала. Ей удалось кое-что напечатать в нескольких поэтических сборниках и журналах и выпустить отдельную книжечку стихов⁵¹¹. Кое-кто о ней отзывался с одобрением.

Успех был негромок и недолог. Затем последовала одинокая жизнь, глухая судьба. Как многие из ее поколения, она, не став поэтом, писанию стихов все же осталась верна. Подобно своему дальнему однофамильцу она довольствовалась их распространением в рукописи. Каким-либо эротическим вольностям они были, конечно, совершенно чужды. Но кое-какие вольности другого порядка она в них допускала. Тетрадка стихов как-то попала же

в руки. И вот ее жизнь, подобно стольким житиям, чуть-чуть выходившим из общеположенного круга, была в конец сломлена.

Она отсидела в лагере пять лет. А затем была принуждена поселиться в небольшом городе, заняться случайной, совершенно неинтересной работой. А когда это вновь понадобилось, она в числе стольких других, подобно ей на век заклейменных, была унесена очередным вихрем. На этот раз уликой послужил дневник. Она должна была поплатиться еще десятью годами лагерного сидения.

Жизнь в лагере стала для нее бытом. Одинокая, лишенная чьей-либо помощи с воли, категорически отказывающаяся что-либо принять от товарищей по неволе, она все же устояла. Единственное, кажется, баловство, которое она себе позволяла, — это был крепкий, очень крепкий чай. Только чай она разрешала приносить ей в благодарность за какую-либо услугу: например, за составление поздравительного письма в стихах.

Она устояла. И сохранила потребность писать стихи. В каморке, стыдливо именуемой «комнатой гигиены», куда женщины приходили постирать то, что приходилось стирать вне положенных для этого сроков, она читала лагерным любителям поэзии свои произведения.

Она старалась — а это не так легко было — записывать и хранить их. Ведь хотелось же, чтобы они еще до кого-нибудь дошли!

Быть может, какой-то вестью до вас
Мое имя дойдет...

Это были не очень складные, недоделанные стихи, написанные с обрывистым стесненным дыханием, такие стихи пишут многие; все те, кто в юности взвихрились было в поэтическом порыве, а затем всю жизнь продолжают стихотворчески косноязычить.

Она писала о Робеспьеере, Кромвеле, Гераклите, Фридрихе Великом, Великом Инквизиторе. И о самой себе:

Платьишко все на мне истертое,
И в гроб мне ничего надеть.
Уж я давно блуждаю мертвая,
Да только некому отпеть.

Она убеждала себя, что для нее стихи то же, что «хлеб, насыщенный хлеб». И она по-настоящему трепетала от страха, что написанное не удастся сберечь.

Быть может, придет ворог
И это отнимет...

Во всем, решительно во всем можно было усомниться:

Существуют ли звезды и небесные дали?
Я уже не могу поднять морду.
Меня человеком звали,
И кто-то верил, что это звучит гордо.

Рыжеволосая, косматая, страшная, она все же пыталась разбудить в себе
какие-то, быть может никогда не существовавшие, любовные воспоминания:

Для сердца жалного услада
Чужого сердца жалый стук.

На восьмом году ее вторичного лагерного сидения были разрешены свидания с родными, буде кто из них сможет поехать в дальний край у Полярного круга. Свидания были разрешены на двое суток. Но с мужьями — даже больше, до семи суток. Для замужних на время свидания в комнатке при «вахте» — пропускной будке ставилась кровать. Муж и жена могли круглые сутки не расставаться.

Она не ждала свидания ни с мужем, ни с кем бы то ни было. Но вот ее стихи:

Загон для государственной скотинки.
Сюда войдешь, не торопись назад.
Здесь комнат нет, убогие кабинки,
На нарах — бирки, на плечах — бушлат.

И торопливость судорожной встречи,
Любовной встречи где-нибудь в сенях
Без чувств, без слов. К чему здесь речи?
Осудят лишь сконец или монах.

На «вахте» есть кабинка для свиданья.
С циничной шуткой ставят там кровать.
Здесь арестантке, бедному созданью,
Разрешено с законным мужем спать.

Страна святого пафоса и стройки,
Возможно ли сильней и проще пасть?

Возможно ли на этой подлой койке
Страшней растлить супружескую страсть?

Под улюлюканье, под свист и хохот,
По разрешению злого подлеца?
Нет, право, лучше откровенный выстрел,
Так честно пробивающий сердца.

20. Сжимая сердце

О намеченному содержании этой главы решительно ничего не могу вспомнить, кроме только одна строчка в набросках: «Надежды растут. Кое-кто еще уезжает».

21. Вы ждете счастливого конца?

Теперь есть чего ждать. Можно жить надеждами! Надеждами на пересмотр дела, на... освобождение. Надежды!

Вот — один из тех людей, чье количество обозначается восьмизначным числом. Он прожил несколько месяцев в постоянном страхе. То было в знаменательный год наибольшего неистовства «большого дома». Тень выдуманной вины возглавлявшего учреждение, в котором он работал, пала на всех сотрудников. Один за другим они исчезали. Его же в числе весьма немногих не тронули. Он решил, что спасен. Успокоился. К нему вернулся сон. И вот тогда-то забрали наконец и его. Единственная вина: родился за границей. Допрашивали. Били. Но не очень. Виновным себя не признал. Отдался восемью годами заключения. Ему повезло: попал в не очень северную область. Выручила профессия: оказался нужным работником. Жена проявила стойкость: отстояла часть квартиры от конфискации, сохранила вещи, сумела поддержать его посылками, вырастила дочь. Приезжала его навещать. Он выжил. Дотянул до конца срока. Но освободили не сразу. Настойчиво предлагали остаться там же вольнонаемным, выписать к себе семью, обещали обеспечить, грозили. Не сдался! Отпустили. Поселился в маленьком городке неподалеку от того большого города, где был его дом, его семья и где ему, бывшему заключенному, жить было не положено. Изредка виделся со своими, терял мужество. А через полтора года был подхвачен новым вихрем, унесшим всех, подобно ему отбывших наказание, в дальние края на «вольное поселение», где не было почти никакой работы для них. Но он перенес и это и даже нашел кое-какой заработок. Каждое лето приезжала жена. Так прошло еще семь лет. Шестидесятсемилетним инвалидом труда он вернулся домой, чтобы через три недели снова уехать жить, где ему угодно, но только не ближе, чем на пятьдесят километров от своего дома. Он перенес и это, то питая, то теряя надежду, что «дело» его пересматривается и он когда-нибудь реабилитированный сможет вернуться к жене и дочери.

Что же, это будет счастливый конец?

Или вот: мужа расстреляли в начале войны, нет, не впопыхах, а после трехнедельного следствия. Он также родился за границей. Следственно-шпион. Жене повезло, она в то время жила в эвакуации, ее не трогали. Прошли годы, пришли новые времена, стало возможным требовать пересмотр дела и посмертной реабилитации. Три военных юриста в чине генерала признали, что приговор был вынесен неправильно. Выплатили денежную компенсацию: двухмесячную заработную плату мужа, кое-какое возмещение за конфискованные вещи. Дали комнату, где можно жить. Возможным стало и получение пенсии.

Что же, это тоже счастливый конец?

Или вот: история покороче. Забрали, осудили всего лишь на пять лет, пропал без вести. Жене после нескольких лет розысков прочли по бумаге, которую не дали даже в руки взять, что ее муж умер тогда-то в тюремной больнице там-то и попросили расписаться, что сведения о муже она получила.

Вы думаете, это — не счастливый конец?

Есть хуже. Ее выслали после ареста мужа, чья единственная вина, возможно, была лишь его не совсем русская фамилия. Мыкалась в дальних краях, добилась возможности жить поблизости от родного города, была подхвачена новым вихрем, подбиравшим остатки того, что еще можно подхватить, как-то осудить. Была подхвачена и исчезла. Передачу в тюрьме не приняли, сказали, что умерла. Когда, как — неизвестно. Что с ней было, какой смертью — думай, что хочешь.

Но и это не худшее!

За спиной тех, кто выжил, кто перенес заключение, кто, став непривольным источником стольких бед для своих близких, на которых пала тень его минимых преступлений, был затем освобожден как невинно осужденный, за спиной тех, чье имя — легион, имя еще стольких легионов, всех тех, кто погиб за Полярным кругом ли, прокладывая дорогу, которую так и не удалось проложить, в других ли местах, погиб без вести и о ком ничего никогда не удастся узнать, так как «сведений не имеется».

А вы ждете счастливого конца? Хотите забыть?

П о четвергам дают справки. В четверг дочь пошла справиться. Тот, кому она несколько лет тому назад посыпала телеграмму, что мамы нет дома, приехал в это время к ней. Он пошел вместе с ней. Пришлось долго ждать. Заранее успокаивали себя мыслью, что и сейчас ничего не скажут, предложат прйти через месяц снова справиться.

Наконец ее пустили. Он остался в приемной. Через минуту, не более она вернулась.

Все! Не справляясь в списках, сразу же ответили: дело прекращено, постановлено распоряжение об освобождении.

Пошли пешком по длинному, длинному мосту. Они шли, ничего не помня. Но им никогда не забыть, как они шли. Дочь все охала: как же быть, послать ли маме еще одну посылку, ведь продукты уже куплены. И сама же изумлялась, как это такая мелочь из головы все не выходит. Все же посыпали не посыпать. Ведь можно же все-таки надеяться, что уже недолго ждать.

Послали телеграмму; получили сообщение о полном выздоровлении бабушки, ждем скорого свидания. Подписались оба уменьшительными именами. Получилось как будто два женских имени.

Телеграмма была настолько прозрачно-никчемушно зашифрована, что лагерное начальство колебалось, вручать ли ее адресату. Вручило. И адресат начал исподволь, все время смиряя себя раздумьем, что это может быть и не скоро, готовиться к отъезду.

Но освобождение пришло скоро и, конечно, неожиданно. Ее искали по всему лагерю, пока наконец не нашли в самом дальнем уголке, в комнате гигиены, где она переписывала стихи лагерной поэтессы, которые надеялась вынести на волю.

Пришла в лагерную контору. Ей прочли постановление. Вот что она запомнила. Ее дело было направлено для дополнительного следствия: во-первых, знала ли обвиняемая, когда составляла библиографические указатели, что упоминавшиеся ею авторы — враги народа? Во-вторых — содержат ли

упоминаемые в указателе сочинения контрреволюционные идеи? Но, прежде чем дополнительное следствие было закончено, выяснилось, что упомянутые в указателях лица обвинялись как враги народа ложно и, следственно, никаких контрреволюционных группировок они не создавали. Поэтому дело прекращается и она подлежит немедленному освобождению из-под стражи.

Собралась как можно быстрее. Часть вещей, книг взяла с собой, часть оставила. Проверка не была тщательной. Удалось вынести письма и стихи. Прощалась. И вышла за проволочную ограду. Всё...

Дали лошадь, чтобы довезти до гостиницы у станции. Поезд уходил лишь завтра утром. Зашла в отведенную ей комнату, заложила дверь на крючок и побывала минут десять одна. Затем пошла на телеграф.

Эту ночь впервые после трех с половиной лет спала на свободе. Дверь была заперта изнутри, а не снаружи. Спала на кровати. Спала одна. Ночной тьмы почти не было. Было начало июля у полярного круга.

Наутро до отхода поезда пошла прогуляться. Подошла к проволочной ограде. По ту сторону проволоки поодаль стояли заключенные. Приятельницы махали ей руками, чтобы она ушла.

Сначала схата в набитом людьми вагоне. Но неудобств не замечала. Надо было далеко отъехать, чтобы в окне увидеть не пустошь, а деревья, траву. И тогда лишь поняла, что столько времени прожила среди черно-серой земли и белого снега. Отвыкла от зеленого цвета.

Пересела на другой поезд. Здесь было удобней ехать. Купила пирожки и мороженое. И, наконец, на третий поезд. Дала домой телеграмму с точным обозначением дня и часа приезда. Вагон был плацкартный. Спала на отдельной полке.

23. Забыть нельзя

«Многое можно простить, оправдать, забыть. Даже величайшую жестокость. Но не ложь!»

Так должна была начинаться глава, наполненная гневными и горькими размышлениями. Их накопилось тогда немало. Они не иссякают и по сей день.

На вокзале встретил зять. Растроился: «Вы не так уж плохо выглядите».

Старшая дочь ночевала на даче с детьми. Она должна была скоро вернуться оттуда, так как каждый день ждала телеграммы о времени приезда. Телеграмма же пришла вчера поздно вечером, когда она уже уехала на дачу.

Поехали домой на такси.

Вот он — дом. Вот то, что казалось навек утерянным. Первая встретилась домработница соседки-приятельницы. Первые слезы.

Не успел лифт подняться, как наверху уже знали.

Дома никого. Прибежали из соседней квартиры.

А затем пришла старшая дочь. Та, на чьи плечи столько легло за эти годы.

Жизнь берет свое. Надо было пойти купить платье, чтобы хоть что-нибудь приличное надеть. Побежали также в ломбард перезакладывать вещи. В этот день истекал срок заклада.

Как ни была осторожна, а не убереглась, выпила слишком много молока, которого так давно не видела. И поплатилась.

Назавтра с утра предстояло поехать на дачу к детям. Младшая дочка перешла в четвертый класс. Внук уже умеет читать.

Вечером позвонили по междугороднему телефону. Он ждал известия со дня на день. По телефону ничего не скажешь. Обещал, что завтра же вечером выедет.

25. Еще одно письмо

А когда ложились спать, то дочь передала ей запечатанный конверт. В нем — письмо, написанное тотчас же после получения телеграммы «мамы нет дома», в ожидании самого худшего и пересланное с озией в надежде, что, быть может, когда-либо оно дойдет до адресата.

Надо полагать, что подобного рода писем в те годы было написано немало.

И вот она читает это письмо...

⁴⁸⁰ Цитаты из баллады А.К. Толстого «Василий Шибанов» (1858).

⁴⁸¹ Речь идет о статье «Как меня сделали “врагом народа”» (Последние новости (Париж). 1939. 26 июня) и «Открытом письме Сталину» (Новая Россия (Париж). 1939. 1 окт.). Перепечатаны (частично): Огонек. 1987. № 26. С. 4—7.

⁴⁸² Облполитвод — Областное политическое управление водного транспорта.

⁴⁸³ Имеется в виду Л.С. Франкфурт.

⁴⁸⁴ Речь в этой части идет об аресте и заключении Л.С. Франкфурт, второй жены Л.В. Розенталя.

⁴⁸⁵ Цитата из стихотворения А. Ахматовой «Данте» («Он и после смерти не вернулся...», 1936): «Факел, ночь, последнее объятье». Действие главы происходит в 1951 г., дом, в котором арестовали Л.С. Франкфурт, расположен по адресу: Лесной прп., д. 61. В нем она жила и позднее.

⁴⁸⁶ Младшая дочь — Т.Г. Франкфурт, старшая — Э.А. Генина (Юдалевич). Внук — М.Л. Генин, сын старшей дочери. Зять — муж старшей дочери, Л.Е. Генин.

⁴⁸⁷ Имеется в виду О.А. Юдалевич.

⁴⁸⁸ Л.С. Франкфурт, член партии, была арестована в 1951 г. по «Ленинградскому делу».

⁴⁸⁹ Статья Уголовно-процессуального кодекса, по которой обвиняемыйзнакомится с уже законченным следственным делом и подписывает его (процедура ознакомления).

⁴⁹⁰ Имеется в виду А.И. Юдалевич, главный инженер Ленэнерго. Он застрелился 24 марта 1937 г. в служебном кабинете.

⁴⁹¹ Цитата из стихотворения Маяковского «Сергею Есенину» (1926).

⁴⁹² См. ниже в главе «Дальнейшая процедура».

⁴⁹³ Крылатое выражение из «Путешествия в Арзрум» (1836) Пушкина: «Как жаль, что Грибоедов не оставил своих записок! Написать его биографию было бы делом его друзей; но замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов. Мы ленивы и нелюбопытны...» (гл. 2).

⁴⁹⁴ Л.С. Франкфурт была осуждена на 8 лет; она пробыла в Особом лагере МВД в Коми АССР с 1951 по 1 июля 1954 г.

⁴⁹⁵ Письмо от старшей дочери Л.С. Франкфурт — Э.А. Гениной.

⁴⁹⁶ О сроке приговора Э.А. Генина узнала от Л.С. Франкфурт на свидании в августе 1951 г.

⁴⁹⁷ К.А. Негодаева, ближайшая подруга Л.С. Франкфурт.

⁴⁹⁸ Н.П. Фирсова, домработница Гениных.

⁴⁹⁹ Имеется в виду С.И. Генина.

⁵⁰⁰ По арестантским преданиям (см.: Эффусси Я.И. Кто на «Э»? М., 1996), Вологодская тюрьма была построена при Иване Грозном.

⁵⁰¹ Дессу (фр. dessous) — женское нижнее белье.

⁵⁰² Здесь и далее в этой главе дополнения в прямых скобках сделаны самим Розенталем.

⁵⁰³ Письма от младшей дочери Л.С. Франкфурт — Т.Г. Франкфурт. Миша — М.Л. Генин. Приписка — от Э.А. Гениной.

⁵⁰⁴ См.: Роден О. Искусство. [СПб., 1913].

⁵⁰⁵ См.: Блок А.А. Стихотворения и поэмы. Л., 1951.

⁵⁰⁶ Речь идет об Иване Семеновиче Баркове.

⁵⁰⁷ См.: Барков И.С. Сочинения и переводы. СПб., 1872.

⁵⁰⁸ Ныне они опубликованы; см.: Девичья игрушка, или Сочинения господина Баркова / Подгот. А. Зорин и Н. Сапов. М., 1992; Барков И.С. Полное собрание стихотворений / Вступ. ст., сост., подгот. текста и примеч. В. Сажина. СПб., 2004.

⁵⁰⁹ Речь идет о балладе Пушкина «Тень Баркова» (1812—1814?).

⁵¹⁰ Речь идет об А.А. Барковой.

⁵¹¹ См.: Баркова А. Женщина. Стихи. Пб., 1922. Наиболее полное издание наследия А.А. Барковой: Баркова А.А. Избранное: из гулаговского архива. Иваново, 1992. О Барковой см.: Берниченко Т.Г. Опыт «камерной» лирики: гулаговская поэзия Анны Барковой в свете эволюции авторского сознания. Екатеринбург, 2007.

⁵¹² Ксенофонт в составе наемного греческого войска участвовал в походе Кира Младшего против его брата, царя Артаксерса, и описал поход в книге «Анабасис». Кир был убит, его персидские воины разбежались или перешли к Артаксерксу. Греческое войско было вынуждено возвращаться домой по незнакомой местности среди враждебных племен. Выйдя к Черному морю, греки закричали: «Таласа» — «море».

⁵¹³ Тройственный союз — военно-политический блок Германии, Австро-Венгрии и Италии против Франции и Великобритании, сложившийся в 1879—1882 гг. С конца XIX в. Италия, терпевшая убытки от таможенной войны, которую вела против нее Франция, начала менять политический курс. В 1902 г. она заключила с Францией соглашение, обязавшись соблюдать нейтралитет в случае нападения Германии на Францию. Во время Первой мировой войны Италия выступила на стороне Антанты, и Тройственный союз распался (1915).

⁵¹⁴ «Австрийский Ллойд» — пароходное общество, возникшее в XIX в. Осуществляло срочные прямые рейсы между Одессой и портами Ближнего Востока и Балкан, а также в порты Дуная до Регенсбурга.

⁵¹⁵ Имеется в виду Петр I Карагеоргиевич.

⁵¹⁶ Речь идет о соборе св. Александра Невского (арх. А.Н. Померанцев, 1912) и памятнике царю-освободителю Александру II (скульп. Арнольд Дакки, 1907).

⁵¹⁷ Слова из «Анабасиса» Ксенофonta.

⁵¹⁸ Рейс «Керженца» был организован летом 1920 г. Цекультводом в качестве инструкторской поездки. Цекультвод (Культурно-просветительский отдел ЦК Всероссийского союза рабочих водного транспорта) «дублировал» Наркомпрос в областях, прилегающих к судоходным рекам, и обладал большими финансовыми возможностями, так как имел иные источники дохода кроме государственного фи-